

Лев ТОЛСТОЙ

ДЕТСТВО



Иллюстрации
Анатолия Воробьева

#эксмодетство
Москва
2023

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос=Рус)1я44
Т52

Толстой, Лев Николаевич.
Т52 Детство / Лев Толстой ; иллюстрации Анатолия Воробьёва. — Москва : Эксмо, 2023. — 144 с. : ил. — (Библиотека школьной классики).

ISBN 978-5-04-121706-8

Трогательная и лиричная повесть из автобиографической трилогии Льва Николаевича Толстого написана от лица десятилетнего Николеньки Иртеньева. Яркие, искренние переживания юного героя находят живой отклик в сердцах читателей.

Повесть «Детство» входит в обязательную школьную программу по литературе.

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос=Рус)1я44

ISBN 978-5-04-121706-8

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

Глава I

Учитель Карл Иванович

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопущкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Ивановича. Он же, в пёстром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке¹ с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьёт мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как

¹ Ермóлка — маленькая мягкая круглая шапочка.

бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошёл к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal¹, — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошёл ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утёр нос, щёлкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nu, Faulenzer!² — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нём думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie³, Карл Иванович! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чём я?

¹ Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (нем.).

² Ну, ну, лентяй! (нем.)

³ Ах, оставьте (нем.).

не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слёз, заставляли их течь ещё обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, всё это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татап умерла и её несут хоронить. Всё это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слёзы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слёзы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошёл дядька¹ Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьёзный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нёс наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда ещё несносные башмаки с бантиками. При нём мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марию Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьёзный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь говорил:

¹ Дядька — слуга, приставленный к мальчику в дворянской семье.

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умыться.

Я совсем развеселился.

— Sind Sie bald fertig?¹ — слышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слёз. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, ещё с щёткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своём обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»², в красных переплётах, чинно упирались в стену; а потом и пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; всё туда же, бывало, нажмёшь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией³ привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была ещё разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплёта, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожжённом с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже

¹ Скоро ли вы будете готовы? (нем.)

² «История путешествий» (франц.).

³ Рекреация — перерыв между уроками.

испортил им своё зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрёл и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, чёрная круглая табакерка, зелёный футляр для очков, щипцы на лоточке. Всё это так чинно, аккуратно лежит на своём месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаясь внизу по зале, на цыпочках прокрадёшься на верх, в классную, смотришь — Карл Иванович сидит себе один на своём кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинёшенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал её Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдёшь к нему, возьмёшь за руку и скажешь: «Lieber¹ Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты², все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линейвания; с другой — чёрная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнёшь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадёт с шумом слишком большой кусок на землю — право,

¹ Милый (*нем.*).

² Ландкарта — географическая карта.





один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной чёрной клеёнкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетёный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сидели обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь чёрную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдёт в грусть, и, бог знает отчего и о чём, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с вышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повёл нас вниз — здороваться с матушкой.



Глава II

Маман

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слёзы, смутно видишь их. Это слёзы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только её карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi¹. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платье, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *arpeggio*². Подле неё вполупорот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой

¹ Клементі, Муцио — итальянский пианист, педагог.

² Арпеджио — звуки аккорда, следующие один за другим.

кацавейке¹ и с красным сердитым лицом, которое приняло ещё более строгое выражение, как только вошёл Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»², — ещё громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошёл прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал её руку.

— Ich danke, lieber³ Карл Иванович, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утончённости, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иванович... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала татап, подвинувшись к нему и довольно громко.

¹ Кацавэйка — короткая женская кофта, подбитая мехом.

² Раз, два, три, раз, два, три (*франц.*).

³ Благодарю, милый (*нем.*).

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и ещё милее улыбался.

— Пойдите на минутку, Мими, — сказала татап Марье Ивановне с улыбкой, — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было её лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом всё как будто веселело. Если бы в тяжёлые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула её назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чём ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, татап, — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив ещё о погоде, — разговор, в котором приняла участие и Мими, — татап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почётных слуг, встала и подошла к пьльцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папá, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашёл, прежде чем пойдёт на гумно.